

**НА ПУТИ К АКАДЕМИЧЕСКОЙ  
«ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  
(ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ИЗ НАСЛЕДИЯ В. М. ЖИВОВА)**

Подготовка новой академической «Истории русской литературы», которая ставится сейчас в ряду первоочередных задач отечественной филологии, сопряжена для участников этой работы с решением серии непростых вопросов. Составителям будущей истории предстоит не только свести воедино новейшие открытия и толкования, касающиеся творческого наследия отдельных авторов и важнейших в этом наследии текстов, но и пересмотреть по ряду пунктов традиционную концепцию движения русской литературы от истоков до нашего времени. Последнее в особенности касается средневекового периода, потому что имеющиеся очерки развития русской словесности за данный период, по совокупности причин, не свободны от серьезных методологических изъянов. Удивления такое положение вещей не вызывает, если учесть мировоззренческую несовместимость культуры средневековья, с одной стороны, и культуры эпохи позитивизма и модерна, с другой стороны. Это обстоятельство облегчило проекцию на средневековую письменность чуждых ей категорий, отрицательную роль сыграл также императивный социальный заказ, к которому волей или неволей приравнивались историографы в своих оценках. Чтобы восстановить утраченную ими культурную дистанцию и придать будущей истории академическую строгость, полезно было бы вынести на обсуждение оригинальные мысли по поводу разных аспектов литературы и культуры Древней Руси, которые содержатся в синтетических трудах, вышедших из-под пера наиболее выдающихся современных ученых. Изданная посмертно монументальная «История языка русской письменности» В. М. Живова безусловно относится к выделенному разряду.<sup>1</sup> Хотя непосредственным предметом исследования является язык, а не написанная на нем литература, автор, в своем стремлении представить языковые процессы как движение и взаимодействие комплекса узусов, неизменно соотносит изменения языка с культурным контекстом. Данные исследователем характеристики разновременного контекста (контекстов) в первую очередь и должны привлечь внимание историка литературы, поскольку, описывая подверженную изменениям культурную среду, ученый высказал ряд весьма неординарных суждений, которые нельзя будет игнорировать при разработке основных положений будущей истории русской литературы. На самом деле, большинство из этих суждений Живова сформулированы были им гораздо раньше, но связывались с частными проблемами, в то время как в «Истории» автор соединил имевшиеся фрагменты в общую картину.

<sup>1</sup> Живов В. М. История языка русской письменности. М., 2017. Т. 1–2 (сплошная пагинация). Далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно с указанием номера страницы.

С другой стороны, из сказанного следует также, что тезисы, наиболее ценные для характеристики русской средневековой литературы в выбранном для рассмотрения труде, нам предстоит извлечь из сугубо лингвистических размышлений исследователя, которые и составляют основное содержание его книги. Мало того, хотя значимость излагаемых далее идей Живова отнюдь не обязывает считать их безусловно правильными, дискуссия по каждому из пунктов потребовала бы самостоятельной статьи, а пожалуй, даже целого блока статей. По указанным причинам, подыскивая подходящую форму для наилучшей подачи интересующего нас материала, мы благоразумно откажемся на данном этапе от полемики и уклонимся от соблазна воспользоваться моделью, которую задает критическая рецензия, подразумевающая ту или иную оценку разбираемого сочинения. То, что предлагается вниманию читателя, правильнее всего назвать рефератом — жанром, как кажется, наиболее подходящим на пути к конечной цели, когда из масштабного исследования по одному из разделов филологической науки (лингвистики) делается целенаправленная тематическая выборка, соответствующая определенным задачам, поставленным в интересах другого раздела этой науки (литературоведения). Если говорить конкретно — в интересах будущей обновленной истории русской литературы.

Итак, определив модальность операций, которые мы собираемся проделать с книгой Живова, мы вправе свести до минимума полемический раздел — собственные или чьи-то еще контраргументы против какого-то спорно высказывания ученого. Тем не менее для лучшего уяснения дальнейшего изложения и отчасти вопреки сделанной только что декларации о беспристрастности референта считаю нужным в двух словах обрисовать теоретическую платформу Живова, на которой он возводит свою схему развития русского письменного языка. И одновременно обозначить присутствующие в этой платформе непрочные участки. Задавая алгоритм следующим далее изысканиям, исследователь доказывает несостоятельность берущей начало у младограмматиков аксиомы об органичности одного только разговорного языка. По Живову, который, на примере истории русского языка, дискредитирует исповедуемую Ф. де Соссюром оппозицию языка и речи как проявления дихотомии природы и культуры, опозицию, унаследованную потом в дуальных языковых моделях структурализма (в том числе в виде теории диглоссии), письменный узус обладал в древности и обладает до сих пор той же естественной преэминентностью, что и узус устный. Если в последнем случае преэминентность реализуется через восприятие опыта предшествующих поколений, то в первом случае — через превращение навыков чтения в навыки письма. Хранителем традиции выступает весь конгломерат письменных текстов. При этом понятие литературного языка, согласно схеме Живова, становится актуальным лишь применительно к Новому времени, когда начинается формирование языкового стандарта, вобравшего в себя, в качестве функциональных вариантов, прежде относительно автономные типы языковой деятельности (присущая языку компартиментализация, в терминологии ученого). Традиционное у классиков русской филологии противопоставление в языке Древней Руси «церковнославянских» (терминологические варианты: «древнеболгарских» и др.) и «восточнославянских», а потом и «русских» элементов или более радикальное отделение «церковнославянского» языка от «восточнославянского» языка (извода, наречия, диалекта и т. д.) имеет ограниченное эвристическое значение, потому что в динамике коммуникативных ситуаций во главу угла ставится не генезис отдельно взятого феномена, а его функция. В отношении средневековой эпохи следует говорить о регистрах языка русской письменности, причем при расчленении занимаемого этой эпохой языкового

пространства Живов обособляет (с. 205–324), прежде всего, книжные тексты (тексты с признаками книжности). Среди них задают тон (норму) представители «основного корпуса» (а их возглавляют книги, учившиеся наизусть, — Часослов и Псалтирь), а те, в которых имеет место интерференция книжных примет с приметами разговорного языка, автор называет «гибридными». Книжным текстам Живов противопоставляет некнижные (находящиеся вне единственно значимой для эпохи религиозной культуры), среди которых, в свою очередь, обособляются нормализованные на языковом уровне (правовые кодексы и документы) и ненормализованные (бытовое письмо, преимущественно представленное в виде берестяных грамот). Пересказать в нескольких предложениях весь путь, пройденный языком русской письменности, каким он предстает в интерпретации филолога, не представляется возможным. В этом нет и необходимости, поскольку те, кто интересуется деталями, сами обратятся к рассматриваемой монографии. Достаточно будет констатировать, что новаторский подход к источникам языка русской письменности позволил Живову в значительной мере переписать заново всю его историю.

С одной только трудностью ему не удалось справиться — с дефицитом собственных высказываний средневековых книжников о механизмах, регулировавших их языковую активность. Дело усугубляется тем, что почтенный историк языка, вполне отдавая себе отчет в конфессиональном содержании основного корпуса памятников древнерусской письменности, почему-то отказывается этим книжникам в праве на голос, не доверяя их собственному, религиозно мотивированному пониманию слова и текста. Симптоматично, что в книге ни разу не упомянуты отчасти раскрывающие такое понимание немногочисленные свидетельства славянской старины о принципах перевода, начиная от Македонского кириллического листка (хотя, по мере надобности, обсуждаются всякие разные переводы, а в нужных случаях привлекаются южнославянские трактаты по смежным темам, например «Сказание» Константина Костенечского).<sup>2</sup> Живову они не нужны, потому что он предлагает реконструировать практиковавшееся в древности освоение грамоты по собственному рецепту — как сугубо техническую процедуру (дежурная оговорка про единовременность овладения грамотой и катехизации ничего не меняет). Она якобы проходила в два этапа — от чтения к письму (если не считать заучивания наизусть Часослова и Псалтири): сначала учили читать по складам, чего было достаточно для бытового письма, лишь потом избранные получали навыки книжного письма, в основном через подражание образцам. В построениях Живова это важнейший постулат, но, за отсутствием прямых свидетельств, его приходится подкреплять смелыми догадками или ссылкой на сомнительные источники. Догадкой в чистом виде является мнение ученого, будто первый этап обучения обеспечивался не дошедшими до нас букварями (с. 228, прим. 105, с. 679),<sup>3</sup> хотя отсутствие каких-либо учебных пособий (включая элементарные) можно считать конституирующей особенностью сла-

<sup>2</sup> См.: История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век. СПб.; Köln; Weimar; Wien, 1995. Т. 1: Проза. С. 25–37 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A: Slavistische Forschungen. N. F. Bd 13/73) (раздел написан Д. М. Буланиным); Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (Около 950–1300 гг.) / Пер. с англ. СПб., 2010. С. 355–373. Разбирая грамматические контроверзы, развернувшиеся на соборах, осудивших Максима Грека, а потом в полемике со старообрядцами, Живов, вразрез с устоявшимся взглядом, отказывается видеть тут эффект, произведенный сакрализацией некоторых языковых фактов (с. 872, прим. 462).

<sup>3</sup> Одноеровые записи алфавита в древнейших абецедариях прямо противоречат толкованию Живова, которому приходится прибегать к новой догадке — об исчезновении двуеровых азбук (с. 712–713). То же касается избыточных омофоничных графем (с. 684, 692).

вянской средневековой культуры.<sup>4</sup> Еще более проблематично существование институтов, при которых овладевали своим искусством писцы, идет ли речь об училищах (их отсутствие признает и Живов, см.: с. 501–502)<sup>5</sup> или о мощных скрипториях, где над изготовлением одного кодекса трудился добрый десяток писцов.<sup>6</sup> Подобный размах предполагает интенсивное производство книг — презумпция, которая не подкрепляется объемом письменного наследия Руси за первые столетия. М. А. Шibaев подвергает сомнению наличие скрипториев даже в XV веке, и это в отношении крупного книгописного центра, каким был тогда Кирилло-Белозерский монастырь.<sup>7</sup> Легкомысленно также буквальное прочтение топики писцовых записей, в которых встречается обращение к читателю с просьбой исправлять огрехи копииста, и осмысление такой просьбы как косвенного указания на технику их работы (с. 177). Тем же манером, применительно к процессам, связанным с ориентацией на южнославянские оригиналы в эпоху «Второго южнославянского влияния», Живов на первый план выдвигает не вероучительные мотивы, а грамматический фактор. Фактор этот считается главным, хотя грамматики в Москве до середины XVII века не было как таковой, а процессы нормализации реконструируются ученым филологом по поздним руководствам, вроде «Буковницы» Герасима Ворбозомского (с. 848–851). Спасение и здесь приходится искать в топики писцовых колофонов — в тех заявлениях, где авторы предостерегали от изменений находящегося в рукописи текста и призывали бережно к нему относиться (с. 268, 840–841). Ясно, однако, что обращения писцов в этом и в указанном выше случаях относятся к разным объектам: предельная аккуратность требуется при работе с конфессионально непогрешимым предметом — идеальным прообразом текста, в то время как копии-отражения не застрахованы от ошибок, каковые суть неизбежные реквизиты слабого и грешного человека. Они, разумеется, требуют корректировки. Сблaзн увидеть индивидуальное начало в топосе оказался непреодолим и при интерпретации известной «самоуничительной формулы» в разных ее вариациях — начиная от клишированного заявления старца Авраамия, автора «тетрадей» 1696 года, об отсутствии у него «грамматического разума» до апологии русского языка, принадлежащей Аввакуму, и дальше — до ярких образов, использованных в этикетной «биографической справке» составителем сборника «Статир» (с. 885–886, 913–915, 922).<sup>8</sup> Важно отметить, что «самоуничительная формула» несла в славянской письменности никак не риторическую (каковую она получает, если видеть в ней каждый раз отражение некоего уникального обстоятельства — таковы именно рассмотренные случаи),

<sup>4</sup> Ср.: *Picchio R.* The Impact of Ecclesiastic Culture on Old Russian Literary Techniques // Medieval Russian Culture. Berkeley; Los Angeles; London, 1984. P. 247–279 (California Slavic Studies; vol. 12).

<sup>5</sup> Ср.: *Буланин Д. М.* У истоков классического образования в Москве: Памятник братьям Лихудам // *Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog.* Festgabe für H. Keipert zum 70. Geburtstag. Göttingen, 2012. Т. 1: Slavistik im Dialog — einst und jetzt. С. 159–186.

<sup>6</sup> По данным Л. В. Милова (*Милова Л. В.* Из истории древнерусской книжной письменности XIV века: Палеографические наблюдения // *Вестник МГУ.* 1963. История. № 3. С. 23–33), над Троицким «Мерилом Праведным» (XIV век) работало два профессионала и не менее шести учеников. Выводы Милова принял А. А. Зализняк (число профессионалов у него увеличивается до трех), на книгу которого и ссылается Живов (с. 176). Ср. на с. 674, 711–712 о насчитанном предшественниками автора столь же умопомрачительном количестве писцов, будто бы участвовавших в изготовлении «Пандектов» Антиоха (кодекс XI века) и Троицкого сборника, № 12.

<sup>7</sup> *Шibaев М. А.* Рукописи Кирилло-Белозерского монастыря XV века: Историко-кодициологическое исследование. М.; СПб., 2013. С. 311.

<sup>8</sup> Ср.: *Буланин Д. М.* Некоторые трудности изучения биографии древнерусских писателей // *Русская литература.* 1980. № 3. С. 137–142.

но конфессиональную нагрузку: объявляя о своем невежестве (убожестве и т. д.), заявитель свидетельствовал о незамутненной чистоте своей веры.

Нетрудно заметить, что все перечисленные издержки в построениях Живова возникли из-за склонности автора переоценивать лингвистическую озабоченность творцов древнерусской письменности в ущерб их конфессиональной ангажированности. К сожалению, без такого критического комментария к общей концепции исследователя нельзя было обойтись, поскольку та же тенденция просматривается, в большей или меньшей степени, за кулисами тех оригинальных идей ученого о древнерусской литературе, ради которых и писалась настоящая работа. Впрочем, в дальнейшем, строго придерживаясь жанровых рамок реферата, постараемся ограничиться беспристрастным изложением сути этих идей. Хотя и заглавие монографии Живова, и теоретическое к ней введение обещают противопоставить синхроническому срезу полновесную историю, три четверти объема книги описывают внутреннее устройство регистров в языке Древней Руси на начальном этапе его самостоятельного развития, лишь сопровождая такое описание экскурсами в позднейшие периоды. Тут нет вины автора, ибо сами первоисточники XI–XIV веков — мало того, что с трудом поддаются хронологической дистрибуции (за исключением берестяных грамот), они еще и нерепрезентативны для оценки объема и репертуара восточнославянской письменности первых веков.<sup>9</sup> Сведения о значительной части древнейших памятников приходится извлекать из списков не ранее XV века. Это уменьшает их ценность как лингвистического источника, а во многих случаях ставит под вопрос раннюю датировку их протооригиналов. Тем не менее существует некий набор произведений: с одной стороны, принадлежность их начальному столетию (столетиям) русской литературы сомнений не вызывает, с другой стороны, ничего сравнимого с ними или вообще не появилось впоследствии, или развитие родственных форм словесности возобновилось лишь несколько веков спустя. Таково риторически совершенное Слово митрополита Илариона (шедевр, особенно необычный постольку, поскольку устная проповедь у нас в те годы не звучала<sup>10</sup>), таково Сказание о Борисе и Глебе (мartyрий, посвященный жертвам не вероисповедания, а братоубийственной усабицы), таково написанное Нестором Житие Феодосия Печерского (следующее русское преподобническое житие будет составлено только в XV веке), таково Поучение Владимира Мономаха (собственный литературный опус представителя княжеской династии), такова, разумеется, и «Повесть временных лет» (новый вариант легендарной предистории Руси созреет лишь в XVII веке в виде «Сказания о Словене и Русе»<sup>11</sup>). Кроме того, высокие достоинства первых литературных опытов на Руси, при отсутствии периода ученичества, сами по себе требуют какого-то объяснения.

Какие же соображения, помогающие толкованию этих уникалов, высказываются в «Истории»? Традиционная ссылка на роль Византии, которая и ввела поданных князя Владимира в семью православных народов, не вполне отвергается Живовым, хотя он и сомневается в уместности термина «влияние» применительно к той фильтрации, какой подвергались имперские стан-

<sup>9</sup> Турилов А. А. Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства в книжности Московской Руси XV–XVI вв.: Заметки к оценке явления // Турилов А. А. Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики. М., 2012. С. 202.

<sup>10</sup> Буланин Д. М. Традиции и новации в интерпретации русской письменной культуры первых веков: Заметки к переводу книги С. Франклина «Письменность, общество и культура в Древней Руси (Около 950–1300 гг.)». СПб., 2010. С. 15–16.

<sup>11</sup> См., с библиографией: Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1998. Вып. 3. Ч. 3. С. 444–447 (статья Д. М. Буланина, А. А. Турилова).

дарты по ходу их рецепции (с. 100). Говорить об универсальной зависимости русской письменной культуры от византийских образцов в любом случае невозможно. Ученый ссылается на несопоставимость исторического опыта Руси и империи, разную структуру функционировавших там и здесь языков (отрицательный признак на месте древнегреческого языка), наличие в одном случае и отсутствие в другом образовательных учреждений, унаследованной от античности риторической культуры, иерархии жанров, совершенно не актуальной в новых коммуникативных ситуациях, и др.<sup>12</sup> Хотя исследователь полностью принимает популярные ныне манипуляции, с помощью которых с завидной легкостью отделяют собственно русские переводы с греческого от прочих, все-таки он признает южнославянское происхождение основного корпуса переводной литературы (с. 93). Правда, самостоятельное значение Болгарии в качестве промежуточной инстанции между Византией и Русью, т. е. того места, где и было принято решение о равнении славянской письменной культуры на византийский монастырь,<sup>13</sup> никак и нигде не раскрыто. Напротив, автор силится доказать, что для периода, на который пришлось зарождение русской литературы, неправильно противопоставлять православие Константинополя, которое прижилось в Киеве, латинскому христианству Рима. Крещение Владимира по греческому обряду было собственным выбором русского князя, никоим образом не предполагавшим дискриминацию латинской церкви. Ее нельзя сбрасывать со счетов, потому что в годы крещения Руси Византия, в отличие от Рима, не имела особого интереса к миссионерской деятельности у восточных славян (империя и вообще не была склонна к миссионерским трудам). Деление славянской культуры на *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Romana* (терминология Р. Пиккио) применительно к этому времени анахронично. Им Живов противопоставляет объединяющий термин *Slavia Christiana*, который обозначает собственный славянский мир, сосуществующий, как во время Кирилло-Мефодиевской миссии, рядом с греческим и латинским на равных с ними правах.<sup>14</sup> По данным исследователя, толерантность Рима по отношению к славянскому языку остается в силе, он благополучно продолжает использоваться в Моравии и в Чехии. Даже формальный разрыв — схизма 1054 года не могла мгновенно поляризовать две церкви и две культуры, так что каждая из сторон прилагала много усилий, натравливая своих адептов на противника. В процессе таких атак родилась легенда о епископе Войцехе как гонителе славянского богослужения, в 1096–1097 годах была разгромлена славянская традиция в Сазавском монастыре, пресеклись бывшие некогда интенсивными культурные связи между западными и восточными славянами, и сами следы этого взаимодействия тщательно заматались как латинянами, так и православными. Именно поэтому, полагает Живов, сохранилось мало предшествующих отчуждению латинских, в том числе западнославянских, примет в организации и функциях новоучрежденной русской церкви, а также в объединенной этой церковью обществу.

Каковы же реминисценции былого взаимодействия (с. 129–149)? Фон создают разветвленные династические связи Рюриковичей с западным миром,

<sup>12</sup> О невосприимчивости Древней Руси к византийским политическим и культурным моделям писали и до Живова. См. особенно: *Franklin S. The Empire of the «Rhomaioi» as Viewed from Kievan Russia: Aspects of Byzantino-Russian Cultural Relations // Byzantion. 1983. Vol. 53. P. 507–537.*

<sup>13</sup> Ср.: *Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв. München, 1991. С. 264–276 (Slavistische Beiträge; Bd 278).*

<sup>14</sup> Р. Марти предложил синонимичный термин — *Slavia Cyrillo-Methodiana (Marti R. «Slavia Orthodoxa» als literar- und sprachhistorischer Begriff // Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia. Sofia, 1988. Vol. 1. S. 193–200).*

никак не ущемляемые церковными инстанциями. Далее, аналогии не в Византии, а в «варварских» государствах на Западе, среди прочих у западных славян, подыскиваются к установившейся практике финансового обеспечения русской церкви (десятина) и в вопросах ее юридической компетенции. На западные образцы ориентированы киевские представления о христианском государстве и его движении во времени (сходная с анналами организация повествования в русской летописи), а также о нравственно-политических добродетелях христианского правителя. Так объясняется покорность своей участи Бориса и Глеба, причем Борис сам вспоминает, накануне убийства, среди других мучеников, принявших смерть от руки родственников (Никита и Варвара), о князе Вячеславе Чешском. В восточнославянской рукописной традиции известна молитва Троице, в которой упоминаются, рядом со скандинавскими святыми-страстотерпцами, западнославянские (Вячеслав, Войцех).<sup>15</sup> Среди прочих элементов, противостоящих византийской культурной парадигме, с ее школами античного образца, Живов упоминает утвердившуюся на Руси систему трансляции знаний, которая носила здесь катехизический характер и поэтому больше походила на педагогическую практику в тех странах, чья церковь была подведомственна Риму. Остается только пожалеть, что ученый не принял к сведению статью Х. Кайперта, приведшего западные параллели к известному пассажу «Повести временных лет» о насильственном взятии князем Владимиром детей «нарочитые чади» для «ученья книжного» (ср. на с. 87–89 экскурс об этом последнем словосочетании).<sup>16</sup> Сообщается ли тут о действительном факте или воспроизводится «общее место» миссионерских житий, — сопоставления Кайперта в любом случае подкрепляют развиваемую в занимающей нас монографии мысль о значимости западного влияния при разрыве Руси с ее языческим прошлым. Возвращаясь к перечню отложений в восточнославянских древностях невизантийского субстрата, отметим, что Живов называет зачисляемые в корпус древнейших киевских текстов переводы с латинского, скорее всего выполненные у западных славян, а также собственно западнославянские сочинения. Раздел завершается перечнем усвоенной восточными славянами религиозной терминологии латинского происхождения, в которой, рядом со старшим — старославянским ресурсом, несомненно есть и лексика, заимствованная позднее у западных славян. Есть и несколько лексем с отчетливыми следами западнославянского посредничества.

Изложенную идею Живова об интенсивном западном влиянии на русское общество и книжность на начальном этапе христианизации страны, в том числе через западных славян, влиянии, остатки которого потом скрупулезно вытравили, нельзя строго доказать по этой самой причине — из-за вытравленных воспоминаний (если, конечно, признать их наличие). Независимо от того, принимаем мы идею в представленной форме или отвергаем, ей должно быть отведено заслуженное место в будущей истории русской литературы. Ибо в рамках такой гипотезы получают объяснение некоторые особенности старшего пласта древнерусской культуры — переключки ее памятников с западноевропейскими, чаще всего со скандинавскими аналогами. Среди прочего, это касается названных литературных уникамов. Общеизвестны западные параллели, подобранные к Сказанию о Борисе и Глебе и Поучению Мономаха, Начальную летопись все чаще сравнивают с западными хрониками.<sup>17</sup> Многозначителен

<sup>15</sup> Каталог памятников древнерусской письменности XI–XIV вв.: (Рукописные книги) / Отв. ред. Д. М. Буланин. СПб., 2014. С. 419 (с библиографией).

<sup>16</sup> Keipert H. Die «Knabenlese» Vladimirs des Heiligen — eine angelsächsisch-skandinavische Reminiscenz? // Zeitschrift für slavische Philologie. 2009. Bd 66. S. 37–60.

<sup>17</sup> См. особенно: Гимон Т. В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси. Сравнительное исследование. М., 2012.

и скандинавский элемент в летописи, признаваемый как теми, кто видит в ней, вслед за А. А. Шахматовым, наслоение нескольких сводов,<sup>18</sup> так и теми, кто начинает историю русского летописания с «Повести временных лет».<sup>19</sup> Важнее, думается, другое: гипотеза Живова дает одно из возможных объяснений, почему литературный взлет старшего периода русской литературы оказался недолговечным. Перелом в истории Древней Руси и ее культуры, пришедший на XII век, отмечается всеми, пускай с хронологическими поправками, предлагающими чуть-чуть сдвинуть этот перелом в ту или иную сторону. Причины перелома не ясны, ясно только, что неверно квалифицировать его как деградацию и связывать с феодальными войнами, непрерывно терзавшими тогда, по заверению летописца, русские земли.<sup>20</sup> Как бы то ни было, в литературном репертуаре смена стандарта бросается в глаза: если не считать памятников, не поддающихся датировке даже в пределах нескольких веков (вроде «Моления» Даниила Заточника, «Слова о князьях» и др.), теперь на первый план выходят камерные жанры — поучение духовника, толкование, вопрос-ответ, гнома и т. д. В связи с этим постулируемое Живовым исчезновение одного из источников воздействия на книжный ассортимент (латинского, включая западнославянский) надлежит признать правдоподобным, хотя и не обязательным ответом на вопрос о причинах произошедших изменений.

Вторая из перспективных идей Живова, которую хотелось бы здесь представить, касается, на первый взгляд, довольно специфической материи, обыкновенно оставляемой историей литературы за кадром. Как видно будет из дальнейшего, из истории литературы эта материя изгоняется неправоммерно, а при распространении ключевого тезиса Живова на смежные явления он вплотную подводит к познанию отличительных черт всего корпуса древнерусских памятников письменности. Автор комментируемой «Истории» выясняет, как возникла, как проявилась в плане содержания и как запечатлелась в плане выражения ситуация правового дуализма, сложившаяся в связи с крещением Руси и сохранявшаяся там вплоть до издания Уложения 1649 года (с. 271–297). В тогдашнем социуме в наличии было две почти не пересекавшиеся юридические системы, одна из которых, представленная «Русской Правдой», отражала местное право восточных славян, соответствовала горизонтальной структуре общества и предусматривала наказания в виде возмещения ущерба. Другую систему Русь получила через переводные византийские кодексы, прежде всего «Эклогу» (ее 17-й титул, кроме того, был использован на заре славянской письменности в «Законе судном людем») и «Прохиرون», а также присоединившуюся к ним позднее компиляцию с названием «Книги законные». Все они отражали государственную юридическую традицию, а включенные в них статьи санкционировали физические наказания правонарушителей. Косвенным свидетельством того, что данная оппозиция в полной мере осознавалась самим обществом, может служить известный летописный рассказ под 996 годом о том, как князь Владимир пытался было внедрить (неудачно) в своих владениях византийское судопроизводство (даже если это полностью вымышленный анекдот). «Русская Правда» важна для Живова в качестве главного (а на начальной стадии развития единственного) образчика нормализованного (делового) языка не книжных текстов. Как показывают собранные

<sup>18</sup> С несущественной оговоркой (с. 259) шахматовский подход к летописи разделяет и Живов, не очень ловко (если принять позицию древних книжников) называя летопись «основной» или «центральной» составляющей в гибридной письменной традиции (с. 250).

<sup>19</sup> Толочко А. Очерки начальной Руси. Киев; СПб., 2015; Вілкул Т. Л. Літопис і хронограф: Студії з домонгольського київського літописання. Київ, 2015; Аристов В. Ю. Алексей Шахматов и раннее летописание: Метод, схема, традиция. Київ, 2018.

<sup>20</sup> Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750–1200 / Пер. с англ. СПб., 2000. С. 520–528.

ученым терминологические эквиваленты, переводные кодексы используют лексику, отличную от лексики русского памятника и одновременно совпадающую со словарным фондом других переводов с греческого. Такова наиболее яркая примета, по которой не книжный текст противопоставляется книжному, при этом терминологическая конвергенция с течением времени возможна была только в одном направлении — от вторых к первым. По Живову, действующим было местное право, хотя и лишенное своего места в культуре, между тем как византийское право, хотя и обеспеченное престижем как носитель культурного багажа, было юридической фикцией. Это явствует из общей невразумительности переводов, грубых ошибок (в том числе в определении санкций) при передаче греческого оригинала, помноженных на ошибки переписчиков отдельных копий, из недопустимой в юридической практике терминологической омонимии. Отсутствие у византийских законов практического приложения (использование статей «Прохирона» в грамоте 1404 года митрополита Киприана не в счет, учитывая его общую ориентацию на византийскую практику) означает, что их читали как неотъемлемую часть православной традиции. В самом деле, названные переводные памятники существовали не сами по себе, а в составе «Кормчих» или в сборниках учительного содержания, изъятие их оттуда воспринималось как покушение на полноту священного предания («градские законы», фигурирующие в «Просветителе» Иосифа Волоцкого и в прениях на соборе 1531 года против Вассиана Патрикеева).

В той модификации, какую концепция Живова обрела в обсуждаемой монографии, эксплицитно дистанцирующейся от вездесущих дуальных моделей структурализма, она утратила многое от полемической заостренности, присущей начальному варианту работы ученого, в форме статьи, которую он сам датирует 1982 годом.<sup>21</sup> Изменения отчасти связаны с собственной творческой эволюцией исследователя, отчасти — с довольно острой критикой, какой был встречен начальный вариант исследования.<sup>22</sup> Для историка литературы большую ценность представляет стимулирующий дальнейшие размышления именно первый — «эпатажный» вариант работы 1982 года, который, правда, надлежит воспринимать сквозь призму вызванных им положительных или отрицательных откликов коллег-славистов. Действительно, в то время как в занимающей нас «Истории» к сравнению с автохтонными памятниками (особенно с «Русской Правдой») привлекается только внецерковное законодательство Византии (ср. на с. 290–291 о том, что правила, не обеспеченные процессуальными действиями, не берутся в расчет), в начальном варианте широко учитывались тексты канонического содержания. Решение было правомерное: оно оправдано продемонстрированным самим Живовым функциональным родством тех и других памятников на русской почве, родством, которое подкреплено и общностью их судьбы в рукописной традиции, и общим для них словарным запасом. При ближайшем рассмотрении оказывается, что вывод ученого о переводных кодексах как юридической фикции может быть, в свою очередь и без больших потерь, экстраполирован на главных представителей канонического наследия Древней Руси, включая сюда «Кормчую книгу», где мирские законы соседствовали с церковными.<sup>23</sup> Вопреки утвердив-

<sup>21</sup> Живов В. М. История русского права как лингвосемiotическая проблема. Postscriptum // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 291.

<sup>22</sup> См. особенно: Burgmann L. Zwei Sprachen — zwei Rechte: Zu einem Versuch einer linguo-semiotischen Beschreibung der Geschichte des russischen Rechts // Rechtshistorisches Journal. 1992. Bd 11. S. 103–122; Franklin S. On Meanings, Functions and Paradigms of Law in Early Rus' // Russian History = Histoire russe. 2007. Vol. 34. P. 63–81.

<sup>23</sup> Корогодина М. В. Кормчие книги XIV — первой половины XVII века. М.; СПб., 2017. С. 62. Т. 1: Исследование.

шемую мнению русских канонистов, история «Кормчей» на Руси — это не столько история ее приспособления к управлению местной церковью и к решению казусов, находящихся в церковной юрисдикции, сколько история превращения переводного канонического сборника в компендиум для назидательного чтения, куда входят исторические, экзегетические, гомилетические, полемические, учительные и др. статьи. Учитывая авторитет «Кормчей» в средние века, мы уже не скажем, что спровоцированная Живовым дискуссия лежит в стороне от истории русской литературы. Достоинно внимания, что по ходу дискуссии фиктивной оказалась и давшая ей толчок бинарная оппозиция (действующее право вне культуры vs включенное в культуру эфемерное право). Дело здесь не только в отсутствии неоспоримых прецедентов, когда «Русская Правда» привлекалась бы для решения конкретного инцидента.<sup>24</sup> Не менее значимо, что она неизменно переписывалась в составе памятников конфессионального содержания — в летописи и в той же «Кормчей», наконец, в «Мериле Праведном». Через них она легитимировалась как божественное установление. Что же касается повседневной жизни, можно думать, что судоговорение по мирским и по церковным делам вершилось по старинке устно и на основе устных преданий.<sup>25</sup> Между прочим, автор обсуждаемого исследования, представив свидетельства устного субстрата «Русской Правды» (тут она типологически, а вероятно, и генетически родственна другим «варварским правдам»), признает, что и сама она, возможно, функционировала в устной форме, тогда как ее «письменное бытование оставалось маргинальным» (с. 316). Урок, который может быть извлечен из оригинальной идеи Живова, обогащенной размышлениями других исследователей, касается не одних юридических текстов, но и вообще древнерусской книги как культурного феномена. Подобно тому, как памятники права, равно оригинальные и переводные, не имели практического применения, прагматический аспект отсутствовал у целого букета переводных византийских текстов, бытовавших у себя на родине с четкой спецификацией как догматические, аскетические, мистические и др. В новом культурном окружении они представляли собой более или менее гомогенную массу и свободно соединялись в сборниках учительного характера в самом широком смысле этого слова. Ибо любая книга была на Руси по преимуществу символическим капиталом, лишенным практического применения.

Заслуживают всестороннего обсуждения остроумные соображения, высказанные в «Истории» Живова в связи с его тезисом о смене бывшего прежде в употреблении «текстологического» подхода к книжному языку «грамматическим» подходом (с. 821–887). Речь идет о переломном в истории и в культуре Древней Руси периоде, маркирующие который новации в основных контурах наметились еще в конце XIV века, но в полной мере проявились в следующем столетии. В частности, о сопутствовавшем изменениям в культуре и отчасти стимулировавшем их «Втором южнославянском влиянии». В соответствующем разделе обсуждаемой «Истории» содержится, на первый взгляд, немало убийственных выпадов против укоренившихся в научной литературе суждений о периоде в целом и в особенности о «Втором южнославянском влиянии». Однако, разобрав, что к чему, убеждаемся, что спор чаще всего идет о словах, а не обозначаемых ими понятиях. Скажем, Живова не устраивает этикетка под названием «Второе южнославянское влияние», потому что она затемняет расхождения в культурной обстановке на Руси и на

<sup>24</sup> Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси. С. 275.

<sup>25</sup> Ср.: Долгов В. В. Функции юридических текстов в Древней Руси (На примере «Мерила Праведного») // Вопросы истории. 2013. № 10. С. 91–98.

византийско-славянском юге? — Но неудовлетворительность этикетки ясно осознавалась и осознается всеми, кто описывал способы взаимодействия со славянским югом и использовал ее лишь как дань устоявшейся таксономии. К тому же упрек автора безадресный, а сам он разделяет общепринятый взгляд о религиозном обновлении как о перводвигателе изменений и главной отличительной черте эпохи. Ученому не нравятся выражения «Предвозрождение» или «Православный гуманизм», потому что у православных славян так и не пробудился интерес к античной культуре? — Но изобретатели терминов вполне отдавали себе отчет в их условности. Живов выражает сомнение по поводу значимости учения исихастов как богословского фундамента развернувшейся при патриархе Евфимии Тырновском книжной sprawy, ссылаясь на укорененность их богословия в традициях православного Востока? — Но традиционность эта неизменно подчеркивалась и теми из предшественников исследователя, кто писал об исихазме как катализаторе присущего эпохе стремления к религиозному обновлению. Отмечу, что тенденция к пересмотру роли исихазма в процессе «Второго южнославянского влияния» наметилась уже раньше, в умозаключениях Б. А. Успенского, который полагал, что сама исихастская доктрина была занесена на Русь с юга вместе с книжным импортом как вещь вторичная.<sup>26</sup> Живов идет дальше, относя приобщение Руси к аскетическим упражнениям в духе исихазма ко времени Нила Сорского (с. 831, прим. 442). Живов, продолжая пересматривать стереотипы научной литературы, заявляет, что балканскую книжную реформу нет необходимости приписывать исихастам, потому что у них не было собственной «языковой теории»? — Как выясняется, так называемая «языковая теория» исихастов представляет собой частный случай того, что сам исследователь описывает как «неконвенциональное понимание сакральных символов», так что и здесь отсутствует предмет для спора (с. 827).

Так или иначе, расчистив почву от лишнего богословского мудрствования, автор интерпретирует «Сказание о писменех» Константина Костенечского — единственное дошедшее до нас произведение с обоснованием балканской книжной реформы — как выразительный пример «изобретения традиции» (термин Э. Хобсбаума). Взаимодействие книжного и разговорного языка оценивалось инициаторами реформы и составителем «Сказания» как процесс его «порчи», грозящей уклонением в ересь. Соответственно, задача реформаторов заключалась в том, чтобы вернуть славянский язык к состоянию его первоизданного совершенства, каким его сотворили равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Реализация этой цели достигалась через расподобление письменного и устного узусов, поскольку же контроль с помощью живого языка оказывался под запретом, возникала потребность «в системе абстрактных правил». Это и есть тот грамматический подход к письменному языку, формирование которого на Руси надеется проследить автор «Истории». Воздерживаясь от подробного критического разбора той трактовки совершавшейся пурификации языка, которую дает Живов (каковы доказательства существования на Руси «пафоса языковой правильности»? и как, при отсутствии грамматики, усваивались новые «правила?»), позволю себе все же усомниться в том, что русская письменность XV века восприняла от южнославянской не одни только результаты книжной реформы (в виде текстов и в виде новой орфографии), но также и ее идеологическую подоплеку. Именно, ничто не намекает на сочувствие русских книжников единоверным славянам, только-только утратившим свою государственность, и на их стремление к консоли-

<sup>26</sup> Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд., испр. и доп. М., 2002. С. 280.

дации православного мира («попытки создания православной ойкумены» — с. 835). Кроме того, как мне теперь представляется, за «русоцентричной» теорией происхождения церковно-славянского языка, провозглашенной Константином Костенечским, не таится никакой сознательной ориентации на восточнославянский извод этого языка. К средневековым этнонимам, в том числе производным от них глоссонимам, надлежит подходить очень осторожно. Парадоксальным образом, одновременно со «Вторым южнославянским влиянием» на русскую книжность в славянской письменности (одинаково в восточнославянской, как и в южнославянской) указание на «русский язык» стало употребляться для обозначения «правильного церковно-славянского», откуда недалеко уже было до признания «русским» языка солунских братьев. Таков смысл глоссонима, не имеющего, кажется, никакого отношения к действительной истории славянских языков, но встречающегося в рассматриваемую эпоху на каждом шагу: в колофонах и записях при целой веренице переводов (предложенный А. И. Соболевским список нетрудно расширить), в корсунском эпизоде Жития Константина Философа, в «Сказании о русской грамоте», которое я датирую XV веком, и др.<sup>27</sup>

Для историка русской литературы в этом запутанном клубке взаимосвязанных проблем наибольший интерес представляет замечание, вскользь оброненное исследователем по ходу его полемики с теми, кто преувеличивает участие исихастского богословия во «Втором южнославянском влиянии». Речь идет о стиле «плетения словес», занимающем одну из центральных позиций в общепринятой композиции научного рассказа о судьбах русской словесности. Живов категорически отрицает какую бы то ни было связь этого стиля как с движением исихастов, так и с книжной реформой в целом. Если бы такая связь существовала, рассуждает он, нужно было бы ожидать особенной склонности к орнаментальной прозе у византийских и южнославянских исихастов, на творчество которых, согласно историографическому стереотипу, равнялись русские подражатели. Между тем у связанных с движением исихастов деятелей нет ничего, даже отдаленно напоминающего «плетение словес», которое и вообще было бы не вполне прилично для аскетических писаний, главных для исихастского мудрствования. С этим выводом трудно спорить, спорна, думается, и сама попытка соотнести русские опыты в стиле «плетения словес» со «Вторым южнославянским влиянием» в традиционно установленных для него пределах от конца XIV века до первых десятилетий XV века. Таким образом, вывод Живова должен побудить к поискам в недрах древнерусской литературы более подходящего по хронологии места для памятников, написанных в орнаментальном стиле. Их обособленное положение в том литературном контексте, куда их обыкновенно помещают (рубеж XIV–XV веков), и их малочисленность, с одной стороны («Слово о житии и преставлении Дмитрия Донского», Жития Сергия Радонежского и Стефана Пермского), относительно поздние рукописные свидетельства их бытования (не ранее второй половины XV века), с другой стороны, подталкивают к необходимости пересмотреть датировку самого феномена, обозначаемого как «плетение словес». Аргументы Живова предполагают, что и аналогии к русским образцам орнаментальной прозы надлежит искать где-то за пределами византийских агиографических писаний о святых-безмолвниках, с которыми их принято

<sup>27</sup> Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков: Библиографические материалы. СПб., 1903. С. 36–37 (Сборник ОРЯС. Т. 74. № 1); Дзиффер Д. Новые данные о традиции и тексте пространного Жития Константина // Славяноведение. 1994. № 1. С. 65–66; Живов В. М. *Slavia Christiana* и историко-культурный контекст Сказания о русской грамоте // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. С. 155–157.

было до сих пор сравнивать (ср. славянские переводы житий Григория Синаита, Феодосия Тырновского, Ромила Видинского). На самом деле, уместные аналогии — панегирические жизнеописания сербских королей из рода Неманичей, в особенности, составленное Доментианом Житие Саввы — давно подобраны.<sup>28</sup> Значение этих текстов как стилистической модели оставалось в тени из-за гипертрофированного внимания к исихастским мотивам Жития Сергия, которые ставились во главу угла при оценке и других русских образцов «плетения словес». Интенсификация русско-сербских связей (особенно через Афон) со второй половины XV века — факт известный,<sup>29</sup> следовательно, с этой стороны некоторое омоложение интересующих нас русских памятников не встречает препятствий. Передатировка перечисленных памятников предусматривает, разумеется, серьезные поправки к «биографии» составителя русских житий (возможно также «Слова о житии и преставлении») Епифания Премудрого, какой ее принято реконструировать. А также ревизию истории текста атрибутируемых ему сочинений. Но здесь уже требуется вникать в такие нюансы, которые вынудят нас отступить от поставленной ныне задачи — представить в общих чертах те идеи «Истории», которые видятся наиболее перспективными для готовящейся истории русской литературы.

Завершая это обсуждение, считаю необходимым решительно подчеркнуть, что значение «Истории языка русской письменности» для историка литературы никоим образом не исчерпывается рассмотренными темами. Вдумчивый читатель найдет на страницах монографического исследования Живова еще немало точных наблюдений, метких характеристик, иногда парадоксальных высказываний по поводу целого спектра конкретных памятников русской средневековой книжности и по поводу своеобразных качеств, присущих древней славянской письменности в целом. Кроме того, временные рамки «Истории» не ограничиваются допетровскими столетиями. Пускай в конспективной форме, Живов все-таки сообщает о собственном видении дальнейшей истории языка русской письменности, которая прослеживается вплоть до наших дней. Не приходится спорить, что представления об относительной важности тех или иных мыслей и их относительной значимости для будущей истории литературы не свободны от субъективизма. В конечном итоге выбор их остается на совести эксцерптора. Во оправдание свое скажу, что для теперешнего разбора взяты были лишь те идеи нашего выдающегося филолога, которые, в процессе их развертывания, побуждают к переоценке целых хронологических пластов в развитии русской литературы, а отчасти — к глобальному пересмотру структуры и специфики всего литературного наследия Древней Руси.

<sup>28</sup> См. особенно: *Mulić M. Srpski izvori «pletanja sloves»*. Sarajevo, 1975 (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Djela. Kn. 50. Odjeljenje za književnost i umjetnost. Kn. 2).

<sup>29</sup> См., например: *Буланин Д. М.* Афон в древнерусской письменности до конца XVI в. (Из истории образа по памятникам, учтенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси», а также пропущенным при его подготовке) // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. СПб., 2012. Вып. 2: Вторая половина XIV–XVI в. Ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение. С. 480–494, и др.